

Дмитрий Андреевич Фурманов

Мятеж

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д53

Д53 **Дмитрий Андреевич Фурманов**
Мятеж / Дмитрий Андреевич Фурманов – М.: Книга по Требованию, 2012. –
236 с.

ISBN 978-5-4241-1330-7

Роман выдающегося советского писателя Дмитрия Фурманова (1891-1926) "Мятеж" - документально-художественный. Один из главных героев - сам Фурманов. В основе романа - история ликвидации контрреволюционного мятежа в Семиречье.

ISBN 978-5-4241-1330-7

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Фурманов Дмитрий Андреевич
Мятеж

Дмитрий Андреевич ФУРМАНОВ

МЯТЕЖ

Роман

В книгу замечательного советского писателя-коммуниста Д. А.

Фурманова (1891 - 1926) вошли два его фундаментальных романа "Чапаев" и "Мятеж", посвященных революции и гражданской войне, коммунистам воспитателям масс.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

I. По Семиреченскому тракту

II. В Верном

III. Мятеж

I. ПО СЕМИРЕЧЕНСКОМУ ТРАКТУ

Девятьсот двадцатый год. Март. По Ташкенту, по аллеям - золото ранней сухой восточной весны. В теплом воздухе - сонная, ленивая тишина. Многоцветные пряные сарты* по уютным лавчонкам смачно пожевывают сочный кишмиш. Редким гостем проскочит из-за угла кожаная тужурка, проскользнет парусиновый зеленый портфель, зафыркает в отдаленье автомобиль, - это мчится кто-то на заседание ревсовета. Все туда - к огромному каменному дому, где кипит тревогой жизнь, где до зари и за зарей прыгают лихорадочно бессонные пальцы по растянутым на стенах полотнищам карт, униженным многоцветными клумбами звездочек, головастых булавок, пернатых флажков.

* Так, неправильно, называли до революции местное коренное население Ташкента и некоторых других городов Средней Азии. Фурманов употребляет это название, так как оно было еще в ходу в годы утверждения Советской власти в Туркестане. (Прим. ред.)

Глухая, забаяканная, ленивая тишь. По улицам в мертвом городе мертвый покой. А в каменном доме - за широкими столами, у карт стенных, у столиков, где стрекочут неугомонные морзе, в глухой шифровалке таинственные имена: Иргаш, Мадамин, Хал-Хаджа, Курширмат...

От разбойников нет покоя многострадальной Фергане. И в другом краю, на далеком Семиреченском фронте, где под Копалом сдалась белая армия, грозные, ядреные остатки битой армии с Анненковым, со Щербаковым скачут в Китай... Им надо отрезать путь, нагнать, уничтожить, убить последнюю возможность возврата тяжелой боевой страды. Не замирающая ни на миг, тревожная забота мечется по холодным высоким комнатам ревсовета, и нет здесь доступа золотым лучам туркестанского солнца. И люди здесь иные, - не те, что в сонной дремоте бродят тенями с аллеи на аллею: перехвачены ремнями тугие корпуса, оттянуты револьверами кожаные куртки, строги суровые желтые лица, кратки и четки холодные речи. И встретив на воле долгим изумленным взглядом провожают их цветные халаты, лениво пережевывая пряный кишмиш.

Мы сегодня целый день, как волчки, вокруг ревсовета. Мы завтра ранним утром покидаем Ташкент. Уезжаем в Семиречье, в Верный. На заманчивую неведомую работу. Неизменный Василь Василич прихлопывает нам оранжевой печатью семимильные мандаты. Я на свой улыбнулся не раз: тут целая программа в сто параграфов, устав, весь мой символ веры. "Если, - подумал я, - все выполнять,

что сказано в этом мандате, - сроку надо никак не меньше двести годов. Это вот так мандатец: с таким и в воде не утонешь, в огне не сгоришь". Гляжу - и сам Василь Василич улыбается. Но не место здесь шутить. Он молчалив и серьезен: должность такая. Он посмеется потом, а теперь лишь смачно и крепко прихлопнет именитую бумагу, подожмет плотно губы под черные усики и крякнет, словно после рюмки в трескучий мороз.

Это в ревсовете. А против - угол на угол - политуправление фронта. И здесь суета неумная. Шутка ли: уезжает в глухую даль - кто знает, на сколько времени, на какие дела и тревоги и опасности - целая артель ответственных работников. Тут мы все, в политуправлении, жили тесной дружеской семьей. Многих спаяли и давние боевые связи: кому помнились погони за махновскими бандами, кому уфимские бои с Колчаком, уральские ли вольные степи, донские ли просторы, а с ними - Деникин, Краснов, Каледин, Покровский. У каждого - свое. У многих - общее. И у всех - одно.

Семья спаялась - любо работать. Вчера ввечеру собрались мы последний раз и до глубокой ночи сидели вместе: это была прощальная дружеская беседа. Вспоминали разнос - кому что в памяти, кому что дорого. Но было одно, что пронизывало звонкий, веселый шум:

- Ах, и жалко же, ребята, расставаться!

Привычка - дело не малое. А привычка в работе, да еще к таким ребятам - уж и вовсе дело большое.

Мы раскальвались пополам: одна половина здесь, другая далеко-далеко, почти на тысячу верст за горы, в Верный. Были мы все в эту ночь то безудержно веселы, шумны, то серьезны вдруг, торжественно-молчаливы - со стороны, верно, немного смешны. Не было ложного пафоса - задушевная, волнующая искренность, нужные простые слова. Речи, речи, речи... Выступали до единого. А было нас человек тридцать... Ах, какая это была удивительная, незабываемо-памятная ночь!

Вот Палин, черный, как ворон, с трубкой в зубах, проводит рукой по кудрявой, косматой гриве, заканчивает свое очередное слово:

- Что бы ни было, товарищи, а эти последние месяцы останутся лучшими в моей жизни...

- Они станут еще лучше, Палин, если сделаешься большевиком, - ввернул кто-то с другого конца стола.

- Ну, это оставь, не тронь - теперь не время...

- Большевиком сделаться всегда время...

И сидевшие за столом громко рассмеялись.

Женоподобный, безусый Гарфункель, тоже меньшевик, поспешил на подмогу своему приятелю:

- Это, товарищи, верно... Сейчас нельзя. И не надо сейчас, - вопрос требует, чтобы над ним глубоко подумать...

Сказал - и пунцовые девичьи щеки залило краской смущенья.

- Бросьте, ребята, сами очухаются, - молвил кто-то примиренным тоном.

Эти слова были пророческими: оба липовых меньшевика уже вскоре были в наших рядах. Не слова, не увещанья, а живая практическая работа, в которой варились они изо дня в день, убедила их отказаться от фальши меньшевистской и взяться за серьезную, настоящую работу - по-настоящему, по-большевистски.

Вот девочка Лидочка, восемнадцатилетний несмышлениш, кристально чистая и наивная, как дитя. Она наша общая любимица. Лидочка в те дни еще ничего-ничего не понимала: только улыбалась и торопилась скорей согласиться с тем, кого слушала, - боялась обидеть своим несогласием. Она в ту прощальную ночь ничего-ничего еще путем не знала - про революцию, про большевиков, она разумом была, как птенчик: робка, невинна и чуть-чуть даже смешна. А потом... Потом вместе с нами и она прошла трудный путь, вынесла и выдержала испытания тех дней, когда смерть стучала по нашим вискам, - Лидочка в эти дни была в грозе и буре восстания вместе с нами... Она теперь тоже большевичка. Она заведует областным женотделом...

Так-то бывает в жизни: от девичьих грез - на широкую дорогу классовых битв!

Был Капельницкий - двадцать лет в большевиках. Эмигрант. Умница. Через год в Москву приехал на съезд. И он, которого не убили ни ссылки, ни тюрьмы, ни жандармские побои, - он погиб от глупой, случайно сорвавшейся пули.

И знаете, кто еще был: Павлуша Войтек. В петербургских районах знают рабочие и помнят до сих пор Павлушу Войтека. Это был на редкость искренний, прямой, благородный человек. Мы на него всегда смотрели как на лучшего из лучших. Он был всегда для нас образцом того настоящего, подлинного борца-коммунара, в котором удивительным образом сочетались и мудрость жизни, уяснение сложнейших, мучительно трудных проблем, и голубиная чистота, детская невинность - тихая, незлобивая... Вы от беседы с Павлушей неизменно уносили аромат его искренности, этой непоколебимой, крепкой его веры во все, что говорил он с такой задушевностью. Кажется, и не сказал он вам ничего серьезного и большого, кажется, и слов у него не было нужных, а вот поди же ты: как поговоришь - словно и умней себя чувствуешь, и бодрей, уверенней, и дело делается у тебя веселее, и мысли стали отчетливо свежими, будто окропил их Павлуша живительной влагой. Он обладал редким даром: разрубать узлы, делать простым и понятным все то, что на первый взгляд темно, запутанно и недоступно. Павлуши Войтека теперь уже нет: он с первыми цепями шел в атаку на мятежный Кронштадт, и хищная пуля насмерть крепко поцеловала его горячим свинцом. Такие - так погибают. Они в ударный момент всегда на вышке, на открытом, опасном посту. Их видно кругом, со всех сторон. А пули - миллионами. И одна - непременно в сердце. И снимет с боевого поста такого Павлушу Войтека.

В ту последнюю ночь он был вместе с нами, смеялся, пожимал торопливо нам руки, говорил, как всегда, задушевные, возбужденно-радостные речи. Не помню я слов тех речей - да и зачем они. Он говорил о том, что в каждом месте - своя нужда, своя работа. Будет нам большая работа и в Верном.

- Поезжайте, ребята, будьте и там молодцами. В такой глуши свежая сила нужней, чем здесь.

Это было давно. Теперь уж Павлуши нет. Мир твоему праху, друг. Мы о тебе, Павлуша, не забудем никогда: слишком был ты чистый и благородный человек, отважный и простой - как надо - коммунист.

Может, и еще теперь нет кого - не знаю. Пошел четвертый год. А мы привыкли время считать минутами.

Прошла та ночь. Наутро как ни в чем не бывало мы встретились в политуправлении. Даже усиленно торопились: мы уехать, а они - нас проводить. И взаимную нашу торопливость каждый видел, понимал и даже чуть-чуть стыдился ее.

"Уж скорей бы ехать, что ли..."

Эта мысль была у каждого. И потому особенно быстро заготавливали документы (их готовили и здесь), снабжались наскоро продуктами, упаковывали разные "деловые" сумки, ящики, корзинки... Писали последние письма, - да и как же было их не писать: чтобы добраться к Верному, надо ведь проползти целых шестьсот с лишком верст на лошадях, горами и равнинами: ишь в какую дыру законопатимся.

Мы о Верном были наслышаны немало. Прежде всего, конечно, один другому с таинственным, значительным видом сообщал, что несколько лет назад - и совсем даже недавно, не то в 1911, не то в 1912 - было в Верном последнее землетрясение...

- Да... и здоровенное!

Скажешь и всматриваешься зорко в лицо собеседника, наблюдаешь, как поразит его это известие. Эка новость, словно и он не знает того же! Но чуть-чуть поинтриговать ребячески нам всегда была тогда охота.

Вот, дескать, в какое чертово пекло едем - то ли не герои!

Впрочем, эту "новость" за последние дни мы успели друг другу сообщить уже по нескольку раз, и потому она чем дальше, тем меньше оказывала действия. Затем мы еще наслышались об ужасающей распутице: старожилы пророчили нам гибель в пути от горных бурных рек, от обвалов и провалов, уверяли, что мосты снесены водой.

А нам и любо: предстоящая поездка кажется теперь - после всех этих слухов и сообщений - каким-то диковинным, почти фантастическим событием. Скорей же, скорей в дорогу!

И - как всегда бывает в таких случаях - ввали нам, грешным, почему зря, кому что вздумается, кому сколько влезет, благо мы жадно слушали, развесив уши, всему верили и за все сведения сердечно благодарили.

Наконец, вот он - момент: все выслушано, упаковано, подписано, расцеловано, - прощай, Ташкент!

Лошаденки с бубенцами покатали на вокзал, чего тут рассказывать: сели и поехали.

От Ташкента до Верного что-то верст восемьсот. По железной дороге можно было тогда ехать только до станции Бурной, а дальше - верст шестьсот - на перекладных, на тройках. Медленно, скучно тянулся поезд, часто останавливался по неведомым для нас причинам, подолгу стоял и, наконец, где-то застрял по настоящему: впереди оказались снежные заносы. Вот вам и солнечная туркестанская весна! Впрочем, мы не горевали ни о каких дорожных неудачах, - нас чрезвычайно занимало это далекое таинственное Семиречье, о котором так много наслышались еще в Ташкенте. В дырявом холодном купе вагона, усевшись кружком - кто на лавке, кто на полу, - мы горячо обсуждали методы предстоящей политической и иной работы. Совершенно новая среда, неведомые доселе условия, отсутствие городского пролетариата, незнание киргизского языка - все это были такие обстоятельства, над которыми можно было поломать голову, подумать, поговорить. И мы усердно говорили, без умолку, многоречиво,

неуверенно и крайне возбужденно, особенно возбужденно потому именно, что путем и толком никто не знал: спорить и оспаривать был полный простор. Что же еще оставалось нам делать за долгий-долгий путь? И в то же время хотелось всю нашу поездку обставить таким образом, чтобы от нее получился действительный толк. Во-первых, надо точно определить, что собою представляют эти "подступы" к Семиречью первые районы, что на нашем пути, во-вторых, поучиться здесь на деле, близ живой работы, - поучиться тому новому, ради чего мы едем в такую даль, и, в-третьих, помочь им уже теперь, этим попутным селам и городам, ежели только будем в состоянии чем-либо быть полезными. А как же не быть полезными? Они ведь тут один раз в месяц получают газету, они несносно отстают от жизни, мало что знают и уже во всяком случае путают все самым беззащитным образом. Тут, за горами, темп жизни совсем иной. Какому-нибудь москвичу или иванововознесенцу даже диковинным, непонятным будет: как это люди могут, дескать, терпеть целый месяц, а то и больше, и не знать того, что совершается на белом свете? А вот терпят. Обстоятельства такие, ничего пока не поделаться. Мы это знали заранее, что глушь, тьма и неведение здесь кругом умопомрачающие. Потому мы и решили отдать по пути все, что могли отдать, - наш организационный навык, наши общие знания, нашу осведомленность о последних свежих событиях.

В Семиречье командировался, собственно говоря, я один: в качестве уполномоченного по области от реввоенсовета фронта. Иные уверяли меня, что еду даже в качестве "особо уполномоченного", а то говорили, будто в чине "чрезвычайно уполномоченного", но я, по совести признаться, в семимильный мандат свой не заглядывал, а рассудил, что на месте по делу ясно будет, что можно будет делать и чего нельзя. Но уж такая у всех у нас хватка была в те годы: командируют тебя, а глядь - одному-то ехать и тошно, непременно надо ухватить с собой целую охапку лучших товарищей. С ними сработался, к ним привык, да и они тебя узнали близко. Закинул и я в Ташкенте удочку реввоенсовету:

- Так и так, дескать, еду в глухое Семиречье, с кем там буду дело делать, на кого опереться первое время? Отпустите дюжину политдрузей!

И удивительное дело: ревсовет охотно согласился. На редкость невиданное и диковинное дело. Вот почему и ехать было так радостно даже в эту глухую трущобу. Чего скрывать - уж воистину дыра. Ребята со мною ехали, что называется, "на все руки" - спецы по всем отраслям: тут были и мастера-организаторы и военные инструктора, агитаторы-пропагандисты, лекторы, руководители партийных школ, газетчики, трибунальщики, театралы и прочая. По сему случаю, не доезжая Бурной, план шестисотверстного пути был разработан примерно в следующем виде.

Один местный хлопец, Верничев, скачет вперед и по всем крупным селам и городам назначает собрания, заседания и совещания ревкомов, партийных комитетов, ответственных работников. Назначает для этого точный час, а об этом часе по телеграфу заблаговременно столковывается с нами. Я с некоторыми товарищами еду верст на сотню позади вчетвером: Лидочка - она кой-что и печатает в пути; "кум" - товарищ по работе; фамилии его не помню, а звали его почему-то "кум"; Ная - и друг, и жена, и верный спутник во всех походах гражданской войны. Дорог был каждый час. Надо было торопиться в Верный. И в то же время хотелось кой-что сделать в пути. Потому так и наладили. Одни, таким

образом, готовят, другие проводят собрания, заседания и открытые митинги и оставляют на месте письмо-инструкцию едущей сзади компании. Они подробнее, основательнее входят в работу, выполняют и то, что мы оставляем в инструктивном письме. Этот план показался нам всем наиболее целесообразным. Так и решили сделать.

Всех позади, замыкая шествие, во главе небольшого отряда, охраняя обозы, двигались: ранее упомянутый Гарфункель и общий дружок - Рубанчик.

Кроме сих двух, с обозами ехал Медведич - мой близкий друг и вестовой на всем протяжении гражданской войны. Еще в девятнадцатом году после ранения он попал ко мне вестовым в уральских степях. И с тех пор кружил: в Самару, в Ташкент, в Семиречье, на Кубань... Там и в партию вступил. Застрял. Пропал из виду. У всех нас в памяти он остался как лучший и верный товарищ в самые трудные, опасные моменты; он в дальнейшем пережил с нами все тревоги в дни мятежа.

За беседой, за спорами не заметили, как убегали полустанки назад, как ближе, все ближе подвигались мы к конечной станции - к Бурной. Уже далеко позади оставлены и фруктовые ташкентские сады, и жаркое солнце, и голубое прозрачное небо, и узбекские разноцветные халаты. Распутица в этих краях такое время, когда запасайся и жестким брезентом на слякоть, на дождь и овчинным тулупом - на случай горных буранов и утренних холодов.

Вот - далеко-далеко, за открытой пустынной равниной - сверкают ослепительно в солнечном блеске снежные хребты Тянь-Шаньских гор. До них так близко и так далеко. А впереди по пути будут еще и вязкие глинистые топи и буйно прорвавшиеся горные реки, сбитые мосты, величавые скалы, и на горных высотах еще не раз скуют нас прощальные морозы, закрутят последними буранами бешеные ветры гор. Всего будет: об этом пророчат местные знатоки.

Чем дальше от Ташкента, тем выше уходит дорога, и ближе, все ближе к плоту подступают высокие гордые скалы.

В равнинах снег почти сошел, он остался только на предгорьях и выше в горах.

Коротко, редко пробивается солнце сквозь повисшие темно-бурые тучи и густые туманы, прикившие к горам. Пасмурно. Холодно. Тихо. Растительности никакой. Только возле киргизских поселков и раскиданных здесь и там угрюмых серых юрт - одиноко, сиротливо чернеют какие-то чахлые незнакомые деревца. Узбека здесь не встретишь, ютятся только киргизы. В этих горных просторах по склонам киргизы пасут свои стада. Возле станций прилипли и наезжие, главным образом русские поселенцы, - их особенно много в придорожных городках.

И здесь до Бурной, пользуясь долгими стоянками, кой-где слезаем, ознакомливаемся с постановкой дела - в совете, в партийном комитете, в военном комиссариате. Обнажаются печальные и любопытные картины.

По Советам, куда ни глянь, затесались совсем чужие дрянные людишки: кулачишки, кулаки, кулачищи, баи - тузы, всех сортов торговцы и спекулянты. И вся эта случайная шпана творит под флагом Советской власти самые смердомержкие дела. Больше того - многие из них проникли в партийные комитеты и уже под именем "коммунистов" творят свою собственную, из ряда вон оригинальную "политику". На одной небольшой станциешке нам, например, сообщали, что товарищем председателя в партийном комитете состоит отъявленный спекулянт,

владелец целого ряда всевозможных лавчонок. Он недавно открыл еще одну лавчонку со специальной "высокоблагородной целью". Эту лавчонку он предназначил для сына, и когда ему передавал, то строго-настроено выговаривал:

- Это тебе, Алешка, теперь не то, што старая капитализма какая... Теперь у нас советский строй, и каждый должен в ем работать. А ты, шалопай, чего ба-клуши бьешь... Кто не работает - тот не ест, - у нас вот што... Все должны трудиться... И ты не болтайся впустую, сам зашибай деньгу...

Это не шутка - факт самый доподлинный. И рассказывал нам его железнодо-рожный рабочий - по всем данным, серьезный, отличный парень, не врунишка, не пустомеля. В этой достославной партийной организации насчитывалось членов свыше трехсот человек. И это в местечке, где всего-навсего три с половиной - четыре тысячи населения. Как будто радоваться бы надо, что такой за-видный процент, что партия здесь такой успех имеет. Но скоро нам открылся этот "секрет". Дело обстояло до смешного просто: как-то пронесся заманчивый слух, будто "всех коммунистов мануфактурой делить станут", - и жители поперли в партию ватагами... Мы слушали - ушам своим не верили. Потом справились, что за состав, оказалось, рабочих всего человек пятьдесят, а остальные "так себе... жители". Эти "господа так себе" в те дни по глухим районам Туркестана отнюдь не были исключением, - ими обильно восполнялись партийные организации. Недаром же в те дни распускались по Туркестану даже областные партийные организации, а сколько пораспущено было мелких - о том одному ЦК туркестан-скому известно. На этом примере мы сразу хватили горького яда туркестанской действительности. И первоначально даже опешили, струхнули перед такими ужасами. Но когда остались одни и стали обсуждать, что увидели, услышали, узнали, - только острее почувствовали весь размах и всю серьезность работы, что предстояла нам впереди.

- Советы и партийные организации забиты всякой швалью, - рассуждали мы. - Слой рабочих тощ, а может, и недостаточно к тому же сознателен... Трудовое мусульманство - опора Советской власти, ее основной, коренной здесь фунда-мент, - эта масса все еще темна и в плену у своего духовенства, у своих богачей, манаров и баев... Пока эта масса не раскачается, пока в ее мрачную толщу не проникнут лучи просвещения, до тех пор не выполнена будет главная, основная задача по укреплению здесь Советской власти. Вот как стоит вопрос. Задача чрезмерно трудна. Так бодро за дело. Будем верить в успех!

Мы примерно в этих тонах с такими выводами вели свою беседу. И уж не страшна, не трудна была предстоящая работа, хотя понимали мы, что это при-поднят был лишь краешек завесы, что если настезь распахнуть - обнажатся раны еще более глубокие и гнойные, которые лечить надо ой как долго, ой как настойчиво.

И все же, нащупав мысленно верный путь, поняв, что только в кишлаке сплетаются все нити и сходятся все пути, мы почувствовали себя увереннее и быстро превозмогли свою мимолетную растерянность. Уже здесь, в пути, зародилась у нас мысль создать в Верном для "нашего брата" курсы киргизского языка; эту мысль по приезде быстро и осуществили. Здесь же обменивались мыслями и о том, что для националов надо создать летучие начальные курсы, - эту мысль тоже не забросили, когда по приезде взялись за дело. Но об этом потом, в своем месте, а теперь воротимся на Бурную.

Наши представления о распутице оказались преувеличенными. Лучше сказать - опоздали мы со своими опасениями: главная распутица уже две недели кик миновала, теперь остались только следы, - кое-где припрятавшиеся, уцелевшие снежные горки, притихающие, но все еще буйные ручьи, выброшенные на берег мосты... Это хвостики распутицы. Только по горам еще царствует зима, только там до сих пор и стужа, и снег, и бураны. А здесь везде по равнине чувствуется во всем горячее дыхание весны.

От Бурной без передышки нас должны везти шестьдесят - семьдесят верст до небольшого городка Аулие-Ата. Но лошадей раздобыть здесь чрезвычайно трудно. Несмотря на наши "особенности" и "чрезвычайности", несмотря на грозные наши жестикуюляции семимильными мандатами, несмотря даже на вдохновенную классическую брань станционного коменданта (не то сочувствовавшего нам, не то торопившегося сбить нас поживее), - несмотря на это всё, председатель Совета той деревушки, откуда следовало взять лошадей, невозможно докладывал:

- Нет лошадей...

- Так как же мы поедем? - грозно наступали мы на спокойного мужичонку.

- А мне што?

- Как что? Нам ехать надо: немедленно, срочно, по особым делам, понял?

- Понял.

- Ну, так что же?

- Ничего...

И мы снова начинали пронимать его то мольбами, то угрозами, но мужичок, зная, "видывал виды", и на мякине его не проведешь: невозмутим, как истукан.

- Не сам запрягусь, повезу: ишь, какие нашлись.

С тем и уехали. Лошадей не получили.

Скакать пришлось в другую деревушку, верст за восемь. И только наутро оттуда пригнали две "обывательские" подводы. Горой нагромодили мы разное барахло (мужичок совсем не умел его увязать), забрались на самую макушку тронулись. Крепко потряхивало, - то и дело ждали, что полетим кувырком. Было всем почему-то весело. Мы перекликались с воза на воз, острили, забавлялись, как малые ребята. Клим Климыч - так звали моего возницу оказался очень разговорчивым, толковым, умным мужиком.

- Из новоселов мы будем, - пояснил он тихим, задушевым говорком. Новоселы тут статья особенная...

- А что это за новоселы? - спрашиваю его.

- Мы этак прозываемся, видишь ли, - так что недавно здесь совсем ну, шесть али восемь годов... До тех пор в Харьковской губернии проживали. Тесно стало - мы и давай сюда. Помощь дали нам на поездку, правительство способствовало. И здесь помощь была - земля, постройка... Так все вот мужики, что наехали сюда не больше годов десяти, - все они новоселами и зовутся, а те, которые годов сорок али шестьдесят живут, - старожилы они. Старожил - мужик богатый, у него одной скотины невесть что. Хозяйство какое! Стройка, сад, огород... Ну, да што говорить - одним словом, купец-мужик.

- А вы? - спрашиваю Климыча.

- Тоись новоселы, што ль?